

ИНДЕЙЦЫ И ШКОЛЬНИКИ

ПИТЕР
ПОКЕТ



ДМИТРИЙ
КОНАНЫХИН



*«Мальчики вырастают... они учатся быть мужчинами...
ведь рядом стоят взрослые ребята и смотрят,
чтобы дрались честно — "до первой крови"».*

Дмитрий Конаныхин — обладатель федеральной Горьковской литературной премии в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие русского эпического романа.

Дмитрий Конаныхин
Индейцы и школьники
Серия «Идеалисты», книга 1
Серия «Питер покет»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69164410
Индейцы и школьники: Питер; Санкт-Петербург; 2023
ISBN 978-5-00116-880-5*

Аннотация

Трилогия Дмитрия Конаныхина «Индейцы и школьники», «Студенты и совсем взрослые люди» и «Тонкая зелёная линия» – это продолжение романа «Деды и прадеды», получившего Горьковскую литературную премию 2016 года в номинации «За связь поколений и развитие традиций русского эпического романа». Начало трилогии – роман «Индейцы и школьники» о послевоенных забавах, о поведении детей и их отношении к родным и сверстникам. Яркие сны, первая любовь, школьные баталии, сбитые коленки и буйные игры – образ счастливого детства, тогда как битвы «улица на улицу», блатные повадки, смертельная вражда – атрибуты непростого времени начала 50-х годов. Читатель глазами «индейцев» и школьников поглощён сюжетом, переживает и проживает жизнь героев книги.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Дмитрий Конаныхин

Индейцы и школьники

*Роман о первой любви, первой смерти и первом
перождении*

**Часть средств от продажи книги будет перечислена
в библиотечные фонды территорий, пострадавших от
военных действий.**

© ООО Издательство «Питер», 2023

© Серия «ПИТЕР ПОКЕТ», 2023

© Дмитрий Конаныхин, 2023

Пролог

Апрельским вечером 1970 года в тихом морге топоровской больницы лежали два с половиной покойника.

Поздней весной люди умирают мало.

Обычно люди умирают промозглой осенью или в хмуром феврале – потому что цветущей весной на Украине слишком красиво, пышно и просторно, летом же умирать просто некогда – работа в бесконечных полях и на огородах не позволяет, да и по хозяйству много дел; в конце лета и ранней осенью столько работы, что только успевай закатывать банки со всевозможными маринадами и соленьями да ссыпать в погреба всё, что уродило на земле, а уж на Новый год умирать уж как-то слишком безрадостно и напрасно. Вот поэтому ноябрь и февраль провожают уставших людей, приглушая голоса, накрывая головы густыми туманами.

Но мы, дорогой читатель, начинаем наш путь поздней весной, и никуда нам от этой весны не деться.

Вросшее в землю одноэтажное здание морга спряталось в старом яблоневом саду, чуть в стороне от основных больничных корпусов. Медное солнце пробежало свой обычный путь, уселось на запылённый горизонт и устало курило, умиротворённо выпуская струйку сизо-малиновых облаков. Назойливая жара густым мёдом облепила ветки отцветавших яблонь. Было безветренно и душно. Припозднившиеся пчё-

лы подслеповато ворчали в вершинах гудевших от их многочисленности яблонь, а внизу вечерние тени уже терлись о шершавую кору. Зарешеченные окна были открыты, но света внутрь пропускали мало. На подоконниках и на полу возле окон розоватым снегом лежали сбитые пьяными пчёлами бледно-розовые лепестки.

Висячий замок на входной двери морга ещё хранил тепло рук рано ушедшего мортуса, который уже сидел в ординаторской в предвкушении второй серии премьерного показа «Адъютанта его превосходительства». Патологоанатом оставил включённым дежурное освещение – одну лампу дневного света, которая, как выжившая из ума старуха, шурилась, моргала, шамкала, затухала, звякала грязными медяками воспоминаний, собиралась с силами, снова разгоралась – лихорадочно, будто трясла лохмотьями своих никчёмных тайн. Порождённые лампой синюшные тени играли в прятки, то прятались в углах, то жирными крысами шлёпались под столы, то карабкались по потрескавшемуся кафелю стен.

В покойницкой были заняты всего два стола. Остальные восемь оставались пустыми.

На столе возле входа уже второй день лежал высокий старик, вернее, конечно же, тело высокого старика. Из-под видавшей виды коротковатой застиранной простыни своевольно торчала костлявая фиолетовая ступня с жёлтыми, будто прогоркшее масло, твёрдыми ногтями. С лодыжки свисала бирка, привязанная шпагатом. Тяжелые руки натруженно ле-

жали вдоль тела. Несколько прядей седых волос свисали с края оцинкованной столешницы. На простыне возле рта уже появилось маленькое мокрое пятно, но густой запах цветущего сада заполнил печальное место, заботливо скрывая запах распада человеческой плоти.

У самого окна лежало ещё одно тело, только что оставленное запыхавшимися санитарками, тоже торопившимися к телевизору. Все бюрократические формальности были перенесены на утро: покойникам спешить некуда, мертвецы – народ терпеливый, а новый телесериал ждать не будет.

Под белизной простыни угадывались округлые женские формы. Тусклые вспышки чахоточной лампы выхватывали маленькую фигурку, затерявшуюся на большом для неё столе. Вот здесь – упрямый лоб, там – круглые коленки, там врозь разведены маленькие ступни, которые уже не будут уставать, не будут бежать, не будут танцевать с офицерами-пограничниками. Лепестки яблоневого цвета беззвучно и невесомо ложились на простыню и целовали остывающее тело. Прощальные – такие ласковые, такие нежные, такие беззвучные поцелуи – лоб, грудь, руки, ноги.

И ходивший ходуном огромный живот.

В том колыхавшемся животе отлично жил, кувыркался и не собирался умирать – я, Гриша Филиппов.

Глава 1

Утиная охота

1

Зосечка Добровская спала крепко-крепко.

И снился ей прекрасный и смелый сон: котята Куц, Муц, Пуц, папа Васька и генелисус Сталин били фашистов. – Куц лапой – рrrрраз! Муц хвостом! Пуц сверху прыгал! Папка на своем корабле. Встал с большим-пребольшим биноклем на мостике и грозно так командовал: «По фаситам лавным калибом – ОГОНЬ!» А генелисус Сталин улыбался. Он самый-самый добрый дядя. Так воспитательница в детсаде говорила каждый день и показывала на усатого дядю на стене. На потлете на стене. Воспитательница рассказывала, что генелисус Сталин не спит по ночам и думает о каждом из них – и о маленьком мальчике на далёком Севере, и о папе с мамой, и о ней, о Зосечке, поэтому она должна хорошо кушать, хорошо расти, слушаться папу и маму, а ещё, обязательно! это Зосечка точно знала, что генелисус Сталин думал, чтобы было хорошо и Куцу, и Муцу, и, конечно же, Пуцу, и ещё корове Маньке, и курочкам, и гусочкам, и всем-всем-всем. А немцы так смешно бежали. И кричали: «Гителка-пут!» Это

был такой очень смелый, очень хороший сон, о котором надо было обязательно рассказать папе, когда он оставит свой корабль спать на Чёрном море и засвистит громко-громко ещё на улице. А мама Тася отложит перо, отодвинет тетрадки (мама Тася – учительница, и её очень любят в Торжкевке. Она не учит детей в Торжкевке, а должна ходить учить детей в Липовку, туда идти далеко, но мама Тася говорит, что ей нравится ходить далеко, что она любит вставать рано-рано, пока ещё все спят, тогда она ходит к детям в далёкой Липовке и придумывает им разные смешные задачи), да, мама отодвинет лампу, повернётся, побежит, подпрыгнет, как всегда, и упадет на грудь папе Васе! А потом папа Вася вбежит в хату, бросит в сторону свой чемоданчик, военную фуражку, подхватит Зосечку, его форма будет пахнуть морем, а Зосечка – нет, она не будет спать, разве только совсем чуть-чуть, а ещё он возьмет Куца, Муца и Пуца, обнимет корову Маньку, гусыню Гагу, её утят, потому что папа очень-очень сильный, почти как генелисус Сталин.

Это был такой замечательный, такой смелый сон, что Зосечка засмеялась, не просыпаясь. Репродуктор на стене только начал откашливаться, но очень хорошая девочка Зосечка уже поднялась с подушки, села, покачиваясь, так сильно хотела спать, но старательно запела вслед за торжественным хором, как учила воспитательница: «Саюс нелусимый леспубик сабодих спатила на-ве-ки великая Лусь, да здастует соданный войей а-а-а-ах». Девочка потеряла закрытые глаза ку-

лачками, зевнула сладко, но упрямо продолжила: «Магуций Совеций Саюс!»

2

Шесть утра. Девочка опять заснула. Она видит красивые сны, которые забываются тут же.

...Эти сны приходят отовсюду. Они прилетают бабочками в цветущий сад её впечатлений; это ещё такой очень молодой сад – побеги в нём растут вкривь, вкось, неожиданно и своевольно. Яркие цветы вспыхивают то здесь, то там. Они покрыты искрящейся росой Зосечкиного смеха, на каждой лужайке, у каждого ручейка, на пляже у широкой реки маминой любви – растут свои цветы. Это тюльпаны игр с папой, мягкая резеда бабушкиных сказок, мамины розы – розы везде – белые, кремовые, бордовые, чёрно-вишнёвые и самые вкусные малиновые. Как здорово в этом саду, где снятся такие разноцветные, такие летучие бабочки! Они спускаются откуда-то сверху, откуда в Зосечкин мир лучится ароматный свет, сны садятся на землю и тут же раскрывают листочки, пускают корни и становятся частью очень хорошей девочки. Сны растут где им угодно, беззаботные, игривые, чудесные. Они любят сплетаться в загадки; из-за каждого листочка, из-за каждого камешка может выпрыгнуть огромное-преогромное веселье, или что-то обидное, как ободранная коленка, или ужасное, как смерть кошки Муси, но потом это страш-

ное становится ярким и тёплым. Сны не обижают Зосечку. Их ещё не подстригли острыми ножницами воспитатели, в этом саду ещё не проложены дорожки опыта, ещё не стоят новенькие беседки разочарований, в нем ещё нет никакой формы, которая так присуща взрослым.

В этом садике нет ни одной сухой веточки. Это ведь у стариков вместо цветущего сада сухостой. И сны стариковские совсем другие – высохшие, тревожные. Так трутся и стучат сухие ветки в вершинах омертвевших деревьев, с которых давно слетела кора. Кора снов истачивается червями сомнений, её годами исхлестывает град невзгод, листва ярких воспоминаний давно поблёкла и лежит толстым ковром, укрывая корни, а может быть, и угнетая любой молодой побег. В этот лес не залетают ни птицы, ни бабочки, ни стрекозы. И стучат на жизненном ветру голые ветви, годами выработанные схемы, беззубые, сухие, упрямые, одинокие. В безжалостном каменном лабиринте, за высокими рассыпающимися каменными стенами, стучат ветви – «тук... тук... тук...», а потом – треск, хруст стариковского кошмара – и падает большая ветка или со стоном и визгом валится старое мёртвое дерево – уходят целые куски жизни. И старики забывают. Падает старый тополь – и нет снов о прыжках на тарзанке над весёлой речкой. Мхом покрывается липовый ствол – и нет первых поцелуев. Только изношенная труха беспорядочных воспоминаний на месте головокружения, азарта и блеска глаз. А вот – целая прогалина. Коряги, хворост – там, где

первые годы семейной жизни. А есть пустоши, где, кроме камней, нет ничего. Это места предательств, обид, потерь и боли. Сюда так много лет приходят вспоминать, что на чёрной земле вытоптана любая травинка надежды, земля высохла, она стала пустой и бесплодной, пыль пачкает мысли. На этих пустошах вообще ничего не растёт. Беззвёздная чернота над головой и пыль. Да и кто заглядывает в эти старые заброшенные места? Только тени их владельцев.

У взрослых всё иначе. Дорожки. Тропы. Широкие аллеи. Просчитанные перспективы, панорамы, изгороди и глухие стены. Самые глухие стены загораживают те уголки, где растут самые непослушные, самые сокровенные желания. Туда взрослые прячутся от всех, стараясь поймать, хотя бы краешком глаза уловить внезапное движение, услышать смех, нескромный вздох – там, где они пытаются разуться и пройти босиком по мягкой зелёной траве, пройти невесомо, перепрыгивая с одного цветка на другой – так, чтобы даже стебельки негнулись. Там неожиданно может брызнуть, защекотать фонтан незваной любви и радужно засверкать на солнце. Но только вот как-то так оказывается, само собой получается, что ржавеют замки на калитках в эти заветные уголки. Взрослые выбрасывают ржавые ключи от потайных дверей. Слишком долго взрослые строили высокие стены, чтобы помнить дорогу к своим мечтам. Слишком много стен. Слишком много правил. Привычных тротуаров. Ежедневных, спокойных, размеренных. Даже уютных. Где невоз-

можно споткнуться. Где не страшно упасть. А если упадёшь – отряхнешься... и пойдёшь дальше. А ещё удивительно, когда люди сами берут садовые ножницы и начинают стричь свои сады, свои души, свои сны. Щёлкают ножницы, и радостная улыбка заменяется вежливой гримасой. Сверкают лезвия, и рука сама пожимает руку подлеца. Звенит острая сталь, и льстивые слова сами срываются с губ. Всё очень правильно. Очень по-взрослому. Ясно и привычно. Известен каждый поворот и закоулок. Это где-то далеко, за высокими стенами стыда и страха, прячутся, дичают и не находят выхода мечты, доверие, страсть, похоть, ненависть. И люди забывают друзей. Перестают замечать близких. Их сады слишком красивы для таких излишеств. Но где-то высоко-высоко – там, ближе к облачному небу – уже начинают постукивать сухие ветви...

3

У Зосечки была любимая чашка. Синяя, с голубым и белым ободком. Из неё очень вкусно пить парное молоко. В Торжевке у бабушки Тони была коза Кóзя. Каждое утро, когда восток только-только румянился в ожидании прихода властного дня, бабушка Тоня шла в хлев, подсыпала сено корове Маньке, надаивала почти ведро душистого молока. Клеверное сено шло Кóзе – у неё молоко было особенно вкусное.

Много у Тони было дел: и подоить, и сена подсыпать, и курам дать, гусей выпустить на пруд, зерно порушить, чтобы поросёнкам товчъ заправить скисшим молоком и зерном, на огороде собрать поспевшую клубнику, с сапочкой пройти, окучить, сколько успеть, картошку, наглянуть на лук, не поела ли муха, подвязать тяжёлые кусты с наливавшимися, ещё зелёными помидорами, вырвать зелени, подкопать молодой картошки, надёргать морковки, печь растопить, завтрак сделать семье, успеть убраться, умыться, причесаться, мужа и дочку проводить на работу. К девяти утра Тоня уже умывалась, а впереди ведь ещё был целый день.

Тоня взяла Зосину чашку, осторожно, через марлечку, налила козье молочко, поставила на столе, возле Зосиного стульчика. Осторожно поцеловала влажный лобик, привычно проверила губами – нет ли у внучки температуры, тихонько поправила мокрый локон на круглом лбу и ушла – дел по хозяйству невпроворот. На тарелочке лежали две помытые морковки, такие нежные, что не надо было счищать кожуру. Так и светились на тарелочке жёлто-оранжевые нежные морковки.

В хате было тихо. Терентий и Тася ушли рано. Репродуктор что-то бормотал скучное о врачах в Ленинграде. Потом расплеснулась величавая, немного грустная музыка. На улице загудела машина, остановилась у ворот. Тихонько звякнул засов калитки...

Рыжеволосая девочка разметалась на кровати. Упрямая

пятка сбросила одеяло. Видно было, как под нежной кожей век забегали глаза. Зося недовольно подняла губу, но передумала и опять улыбнулась. Зосечка видела последний сон. В хату уже нетерпеливо ворвались солнечные лучи. Они лизнули Зосину пятку: «Ну же, ну же, рыжая девочка, просыпайся! Хватит спать! Пора играть!»

Одеяло окончательно свалилось на пол. Зося перевернулась на живот, подобрала ноги. Так она досыпала последние секунды – попой вверх, стоя на коленках, носом в подушку. Папин сон поцеловал Зосю и незаметно растворился. В щёлочку век брызнул солнечный луч. Зося резко отвернула голову, прячась от света. Но в комнате уже было светло, даже ярко. Солнечные зайчики прыгали по комнате: «Давай! Просыпайся, Зосечка!»

Зося села на кровати. Осмотрелась, прикидывая, может, ещё поспать. Но пятки уже зазудели – так хотели прыгнуть. Ножки уже проснулись, ручки проснулись, глазки ещё пытались уснуть, спрятаться за длинными ресничками, но наша хорошая девочка уже знала, что впереди новый замечательный день. И сразу же широкая улыбка пустила в пляс веснушки на носике и щёчках.

Зосечка подпрыгнула, буцнула кулачками подушку, толстопопо слезла с высокой кровати и побежала к бабушке, выбивая утреннюю барабанную дробь из закряхтевшего старого пола.

На кухне никого не было.

Зося заглянула на веранду – бабушки и здесь не было. Зося заглянула в клуню – оттуда шлёпнулась небольшая жабка, спрятавшаяся на ночь от вездесущих ежей, и ускакала по ступенькам в чащу георгинов и пионов.

Где-то были слышны тихие голоса. Взрослые сдерживались, но такая тёплая волна слышалась в этом обесцвеченном шёпоте, что в Зосе закипела кровь, и она взвизгнула так оглушительно, что из сада, кто куда, выпорхнули пичуги.

– Ва-а-а-сь-ка! – крикнула Зося во весь голос. Она заплакала от счастья и побежала, запрокинув голову, забрасывая розовые пяточки, не раздумывая, прыгнула навстречу поднимавшемуся моряку.

– Ай, кто же тут у нас проснулся? – забасил Вася.

Девочка изо всех сил обняла папу за шею и замерла. Вася потёрся щекой о рыжие кудри, чувствуя, как в грудь пойманной бабочкой стучало маленькое сердце. Рядом стояла Тоня и держала аккуратно сложенный чёрный китель и фуражку. Тоня смотрела на зятя и внучку, улыбалась и плакала. Морщинки уже тронули её лицо. Слезы потекли по этим морщинкам к зажившему шраму у рта, щекотали шею, но она их не вытирала – руки были заняты. Да и как было не плакать, когда так горько на сердце, да так сладко на душе?

– Вася, я пойду схожу к Терентию в контору, скажу, что ты приехал.

– Мамо... А велосипед здесь есть?

– Зараз гляну, може, Тереша не забрав.

Тоня пошла к сараю, тихонько оглядываясь на Зосечку, спрятавшую лицо на Васиной шее, достала из-за наличника здоровенный ключ, завозила с висячим замком, наконец, справилась, открыла пыльный зев дверей, заглянула, привыкая к сумраку.

– Здесь! Есть! Вась! Вася, есть машина!

– А? Отлично! Мамо... Мамо, я тогда, я к Тасе съезжу.

– Васька, ты куда? – Зосечка подняла голову от папкиной шеи. – Васька, ты же токо приехал.

Зосечка быстро собралась плакать, слезинки уже показались на ресничках, но ещё не решились выпрыгнуть на волю.

– Чшшш, доню, чшшш, доня, – Вася начал баюкать хорошую девочку, – я к маме, я маму привезу, мы с тобой много-много поиграем сегодня!

– Васька, а ты сивоня уизаиш?

– Нет, доня, нет, только завтра.

– Завта-а-а-а! – завизжала Зосечка от радости. Её крик оттолкнулся от влажной земли и подпрыгнул вверх, пронёсся высоко-высоко сквозь кружево порхавших ласточек прямо в синее-синее небо, синее, как глаза её Васьки. – Твой колабь устав? Вин буде довго спати?

– Да, доня, да, – Вася прижал дочку, вдохнул сладкий запах детской кожи. – Да, Зосечка, корабль устал. Он долго-долго ходил по морю, ходил далеко, видел разные страны, а теперь устал и будет неделю стоять, готовиться опять идти в море.

– Васька, а ты znovu бив фаситов? – девочка с надеждой заглянула в папины глаза, надеясь услышать геройский рассказ.

– Нет, доня, нет. – Васины глаза потемнели. – Нет, Зося, папа не бил фашистов. Война закончилась. Всё хорошо.

– Но мы победили? Да, Васька, Гитела нет?

– Да, Зосечка, мы победили. И Гитлера нет.

– У-л-л-ла-а-а-а! – зазвенела Зосечка на весь белый свет. – Мы победили! У-л-л-ла!!!

4

Пыльная тропинка шуршащей змеёй ползла под чуть вихлявшее переднее колесо велосипеда. Шины давно облысели, поэтому Терентий накачивал их не очень туго. Старая резина не выдержала бы давления, да и на мягком песке просёлков на каменно накачанных колёсах далеко не уедешь – велосипед будет юзить и увязать в пыли.

Вася, как заведённый, крутил педали, налегая на пригорках, отдыхая на спусках, с непривычки чуть раскачиваясь в седле. Горячая, слегка растрескавшаяся полоска выбитой земли пересекала плавно перекатывающиеся от горизонта волны изумрудно-сизого, а кое-где и золотисто поспевающего овса. Зной ещё не успел раскалить стремительно выцветающую сковородку синего-синего неба, жаворонки уже забрались высоко-высоко и спрятались в белом сиянии, проливая

хрустальные трели на весь божий мир, а в полях, явно соревнуясь с небесными невидимками, могучим хором скрипели, скрежетали, пиликали и разливались бесчисленные кузнечики. Ветер то стихал, придавленный к земле роскошным солнечным сиянием, то вырывался из когтей жгущих лучей и бежал вслед за редкими тенями запоздалых облачков, бесечно играющих в догонялки с ликующим шаром в зените.

Хотелось пить. На старенькой гимнастёрке и выгоревших довоенных тестевых брюках проступили тёмные пятна. Крупные капли пота собирались на лбу, на густых бровях, щекотали длинные ресницы, струйками затекали в глаза, щекотали прямой нос, холодили чуть впалые щёки, соскальзывали по шее. Дорожная пыль покрыла мокрые кисти и щиколотки, меж лопаток постоянно стекал тоненький ручеёк. Уж на что был привычен Вася к жаре судовых отсеков, но всё равно роскошный, всеобъемлющий, густой зной украинского лета испытывал его выносливость. Тропинка скользнула в пыльную канаву, повернула и запетляла вокруг ртутью блестящего зеркала пруда. Вася еле удержал разогнавшийся велосипед. Разгорячённые ноздри вдохнули, солоно пересохший рот проглотил предательски искушающий запах воды, разогретой тины, тёплой муравистой травки возле пологого бережка. Но он не остановился и продолжал нажимать на педали. Ему было радостно уставать, уверенно сжимать всё более привычный руль, видеть, как медленно под ногами вращалась планета, чувствовать, как в груди туго-туго закручи-

валась пружина ожидания, нежности и силы. Он соскучился по Тасе, родинки её смуглой кожи вспыхивали в памяти, он смахнул пот и улыбнулся.

Привычный взгляд командира полковой разведки выхватил распаханную линию окопов слева на пригорке. Незаметно для себя самого он приметил секторы обстрела, расставил возможные пулемётные точки, тихо пошевелил губами, рассчитывая возможный ритм атаки, оглянулся назад, пытаюсь предугадать, где лучше ставить батарею. Миг, всего одним мгновением, одной вспышкой всё увиденное сплелось в картинку обыденного своей безжалостностью смертоубийства, но тут же в ушах зазвенел дочкин колокольчик: «Ул-ла! Мы победили!»

Да, победили. Вася тяжело навалился на руль. Сквозь усталость грызнула боль справа. Ничего, эту боль он мог перетерпеть, пришло бы только второе дыхание, он умел долго бегать через боль. Сколько же он набегался за войну... Но вот боль слева, там, где спал его кёнигсбергский «подарок», эта боль притормозила гонку сквозь зной. Пуля, его постылая спутница, завидовала человеческим желаниям и ревниво клевала сердце. Шум в ушах потихоньку стих. Липовка уже показалась на горизонте, словно тёмно-зелёный островок на светло-зелёном поле-море. Он стоял, опершись на руль, сплёвывая солёную, густую слюну. Ничего. Сейчас. Сейчас всё пройдет. Должно пройти. Двадцать семь лет – это сила. Не с таким справлялся. Сейчас... Ещё десять вдохов,

десять выдохов. Вася медленно отсчитывал паузы, выравнивал дыхание.

Внизу, в разогретой пыли, муравьи устроили баталию с гусеницей. Она вертелась, скручивалась в тугое колечко, но всё уже было бесполезно. Капля пота тяжело упала с Васиного подбородка прямо на гусеницу и отбросила самого настырного охотника. Муравей вытер усики, закрутил головой. Вася ещё какую-то минуту смотрел на это течение жизни, абсолютно безразличной и к его мыслям, и к его мечтам, и к его существованию, растёр левую часть груди, медленно распрямился. Кровь перестала стучать в виски и солонить рот.

Подлая память неожиданно ударила под дых и подбросила калейдоскоп картинок в костёр памяти.

Море... Море тихое, усталое, закатное, глухо шепчущее нежности, как сильная женщина после страстных объятий. Тёплая прозрачная синева дышит спокойно – вверх-вниз, вверх-вниз. Сметанные разводы облаков на бледно-розовом небе. Начался вечерний бриз. Он плывёт брассом между небом и землёй, дышит ровно, погружаясь на каждом втором толчке. Солёная вода холодит глаза. Он выдыхает в воду, смотрит под водой, далеко внизу синева сгущается чернилами. Оглядывается. Другие участники заплыва отстали. Впереди вырастает стальной борт эсминца, оранжевым светится на фоне пыльных берегов Крыма. Сверху что-то кричат, подбадривают.

...Оранжевые с чёрным пятна в глазах. Ощетинившаяся

колючей грязью земля падает в лицо – на этот раз снайпер попал. Невозможно дышать. Грязный рассыпающийся снег колет щёку. Что-то булькает слева, внутри. Тошнит. Хочется плакать. «Ур-р-р-а-а-а!» Да. «Ура». Нельзя спать. Нельзя спать... Чьи-то руки переворачивают его на спину. Синее небо. Кирпичная стена. Перевернутые фигурки бегущих и что-то кричащих людей. Красные прутья вербы с набухшими серыми «котиками». В Кёнигсберге весна. На лицо сыпется крошево веток, сбитых очередью. «Эй, ты жив, старлей?» Вроде жив.

...Безумные круглые глаза Зосечки и вертящийся в земле надрубленный кошачий хвост. Ещё бы. Удар ужаса. Зосечка на четвереньках толкает дверь топового дома. Почему на четвереньках? Ножки отнялись от страха? Мать роняет ухват, взвизгивает в вопле. Тася выбегает из спальни. Крик. Стон. «Что с тобой, Зосечка?! Кошка? Какая кошка? Кто?! Нанизу?» Снова бег. Кровь чернит глаза. Вася где-то в конце глубокого зыбкого коридора, словно в прицеле, видит старого Сергея Гавриловского, отца полицаев Сергея и Валентина. Тех самых, которых поймали – уже после войны. Что этот грязный старик делает? Копают? Крик из-под земли – из ямки высовывается полуразрубленное животное, а старик, посмеиваясь, продолжает тихонько рубить кошку лопатой. Гавриловский оборачивается. Он не ожидает соседа, солнце слепит, всматривается в бегущего. Лопата так и остается торчать в земле. Поднятые корявые руки в старческих пятнах.

Вася бьёт изо всей силы. Старик взвизгивает и падает навзничь, потом быстро, как крыса, переворачивается на живот и ползёт к себе домой. Вася уже готов ударить последний раз, но за шею его хватает подбежавшая Тася. «Васька! Васенька, убьёшь ведь гада!» Да-а-а...

Вася поднял голову. Первые хаты Липовки уже были совсем недалеко. Сквозь запахи раскалённого поля прорывались чудесные фруктовые ароматы. Даже чудилась прохлада. Он распрямился, проверил, не кусает ли сердце. Нет, всё было в порядке. Он повернул с тропинки прямо по стерне; свежие, недавно скрученные снопы травы ещё не были сложены в скирды. Старые шины плохо шли по засохшей комковатой земле, но он налёг на педали, нырнул на неприметную, известную только своим тропинку и выскочил на хорошую дорогу.

5

В липовской школе было тихо. Вторая половина лета. Ни души. Пахло пустой школой – масляной краской, библиотекой, мелом. Тася поливала цветы на окнах в своём классе. Её дети принесли много цветов – все подоконники уставлены. Её гордость – пышные сиреневые и белые фиалки распустились густыми шапками, повернули нежные мохнатые листья к свету.

За окнами зелёно-золотыми красками играл большой сад.

Молодые деревца с побелёнными стволиками, как смешливые девочки, убежали подальше, к полю, старые же деревья, для порядка, скреблись ветками в окна. Потрескавшаяся кора стволов, зеленовато-бурая, местами розоватая кожа крепких ветвей, согнувшихся под тяжестью яблок. Старые яблони, как старые люди, любили смотреть на детей. Притулившись к школе, они ждали, когда сюда вернутся маленькие человечки. И тогда можно будет снова заглядывать в окна, подсматривать, как мальчики и девочки в первый раз сядут за парты, будут рассматривать класс во все глаза. Как они, притихшие, чуть придавленные важностью момента, в первый раз раскроют тетради, осторожно, неловко возьмут перья и слишком глубоко макнут их в непроливайки. И какой-нибудь мальчик обязательно испачкает пальцы и будет незаметно оглядываться, не зная, что делать. И какая-нибудь девочка, его соседка, строгая и аккуратная, нахмурит брови, разорвёт по линеечке чистенькую промокашку и передаст клочок неумёхе. И мальчик глянет на неё благодарно, что-то шепнёт и засмущается своей смелости, а девочка вспыхнет и строго будет смотреть на доску. И тогда морщинистые старые деревья усмехнутся, в несчётно какой раз увидев краску на щеках детей.

Яблони будут прижиматься к стёклам и слушать, как взволнованно зазвенит голос молодой учительницы, которая так здорово выбелила их стволы. Они не понимают, что она говорит, но понимают, *как* она говорит. Это такая особая

музыка – когда учитель встречает десятки маленьких глаз и осторожно, потихоньку вливает в них всё, что знает, всё, что умеет. И дети начнут расти, распускаться, словно бутоны чудесных цветов. Незаметно поменяются их лица. Они станут другими. Чуть более серьёзными, чуть более внимательными, чуть более хитрыми. Мальчишки будут тереть лбы и чесать затылки, девочки будут кусать кончики бантов, решать сложные задачи, хихикать, когда их товарищи «поплывут» у доски, дети будут передавать друг другу записки, заглядывать в тетрадки соседей, играть «в пёрышки» на задних партах, вытирать подоконники на переменах, бросаться портфелями, драться, падать, смотреть во все глаза на глобус в руках учительницы, представляя далёкие страны и старинные времена. Они будут плакать от обиды, развозя по щекам чернильные пятна, они будут врать, не поднимая глаз, звенеть колокольчиками, рассказывая стихотворения, монотонно нудеть нараспев какие-то правила, скашивая глаза в открытый соседом учебник, они столько всего переделают и будут расти, незаметно расти...

А деревья почти не менялись. Год за годом они просыпались весной, разогретые лучами солнца, проверяли, все ли соседи на месте, не упал ли кто зимой под холодной сталью пилы, захрустев высохшими ветвями. Они делали один глубокий вдох, и едва различимый подземный гул пускал все корни в работу, и чуть сладкий сок устремлялся вверх, к ещё дремавшим почкам. Потом всё опять шло своим кругом –

солнце, раскрывавшиеся листья, шелест ветра, тяжесть веток, снова холодные туманы и блаженный, белый, прозрачный сон.

Самая большая яблоня, старая ворчунья, недовольно вздрогнула, ощутив чьё-то прикосновение. Горячая ладонь легла на грубую кору. Человек, не мигая, смотрел в открытое окно напротив. Рядом, в тени, лёг горячий велосипед, пыльное колесо ещё вращалось и шелестело спицами по зелёно-красным листьям разросшейся клубники. Рука человека сжала ветку. Яблоня недовольно поморщилась, оглянулась, но так было сонно на горячем ветру, так уж жарко напекло макушку, что дерево пожало ветвями и опять стало вглядываться в открытые окна напротив. Там хозяйка хлопотала возле цветов. Цветы – это всегда хорошо. Яблоня всегда следила за последней модой на пёстро цветущих подоконниках, хотя каждый сезон, как опытная женщина, знающая недостатки своей фигуры, носила одни и те же фасоны. Разве что её платья увеличивались в размерах – весной белые, летом зелёные с золотом, осенью – густого медного цвета с серебром. Да это и правильно. Пусть все видят, какая она широкая, осанистая, какая сильная и как платья пышно сидят по фигуре. Деревьям вредны диеты.

Какие смешные эти человечки! Ну куда, куда они вечно спешат? Куда бегут? Почему нельзя просто постоять и помечтать день за днём? И этот... тоже не стоял на месте. Ну что ему не покоилось? Наконец человек отпустил ветку,

чуть пригнулся и пружинисто подкрался к окну, не сводя синих-синих глаз с хозяйки. Она отошла вглубь класса, наклонилась, подняла ведро и наполнила зазвеневшую лейку. Человек примерился и, чуть коснувшись подоконника рукой, бесшумно запрыгнул внутрь и замер.

Женщина поливала из лейки цветок в углу, она была задумчива, чёрные брови были сведены, карие глаза темны, терпеливы и чуть печальны. Она ощутила чьё-то присутствие, вернее, всем существом почувствовала – незаметный стук сердца, слишком тихое дыхание, запах горячего пота. Хозяйка замерла, потом медленно повернулась и взглянула на человека. Они долго-долго смотрели друг на друга. Люди были очень серьёзны и неподвижны. Почти как деревья. Только глаза сверкали.

Вдруг женщина незаметно подмигнула. И лукавая улыбка тихонько поползла по её губам. Лица мужчины не было видно – он стоял спиной. Яблоня недовольно сощурилась, прикрыла листвой окно, чтобы лучше видеть, что же будет дальше. Эти человечки прыгнули навстречу друг другу, сплели свои такие смешные ветви, зашатались, опрокинули парты, что-то говорили неразборчивое, упали на пол, не в силах наглядеться, сорвали свои листья (зачем?!), опять сплелись, кричали, плакали. И замерли. Женщина лежала на мужчине. Они молчали. Слушали сердца друг друга. По её щеке, хихикая, соскользнула капелька пота. Горячая рука мужчины медленно скользила по смуглой влажной спине женщи-

ны. Опять и опять. Нежно... Тихо...

Тася приподнялась, убрала с глаз прядь растрепавшихся волос, блестящих, как звёздная ночь. Потом наклонилась опять и поцеловала мужа в шею.

6

Если девочке четыре года, на маечке блестит папина смелая медаль «За победу над Германией», на голове взлохматились непослушные медные волосы, если девочкины котята Куц, Муц и Пуц с утра напились молока так, что не могут ходить, если солнце ослепительно сияет во всю необъятность украинского горизонта, то охота на соседских уток становится делом просто обязательным.

Зосечка, Борик, Наталка и Стасик сидели возле Женьки и с благоговением смотрели на его умелые руки. Они все участвовали в особой школе. Борька Лифшиц притащил катушку суровых ниток, которую взял тайком у Розы Соломоновны, своей бабушки. Стасик Камышин, самый младший, принес «щучий» крючок. Он прекрасно понимал, что «получит дрозда» за то, что срезал крючок с отцовой снасти, но... утиная охота того стоила. Наталка Камышина держала замотанный в белую тряпочку кусок сала – такой, какой просили, ещё без чеснока. Зосечка Добровская смотрела, как в руках Жени Кондратенко блестел на солнце острый-преострый «кизал» – перочинный ножик её деда Терентия.

Женька умело, в пять витков, привязал крючок, проверил ногтем остроту жала, срезал ножом лишнюю нитку. Потом взял у Наталки узелок, разрезал сало на кубики размером с крупную вишню и насадил один на крючок.

– Ось так! – тихо воскликнул он. – Ну, буде діло!

Три индейца и одна белолицая скво восторженно смотрели на него. Ребята играли в индейцев. Это, как всегда, была придумка Зосечки. Разве можно было просто так ходить на утиную охоту? На утиную охоту надо ходить по-индейски. И они стали индейцами. Для начала нашли большую-пребольшую лужу за домом Борьки. Лужа была большая, давняя, переполненная недавним благодатным ливнем. По краям лужи копытами прохожей скотины была расквашена восхитительная, почти чёрная грязь. Этой грязью все индейцы тщательно выкрасились от пяток до макушки. Только глаза сверкали на чёрных рожицах. Да ещё на Зосиной маечке блестел генелисус Сталин. Наташа мазаться не стала (в восемь лет она уже не хотела «глупостями заниматься»), поэтому осталась бледнолицей скво. Борька нашел три куриных пера, одно воткнул в курчавые волосы, другие, как настоящий «кавалел», отдал Зосечке и Стасику. Большие перья замечательно прочно держались в подсохшей на волосах «класке».

– Ну що? – спросил Женька. – Пойшли?

Индейцы молча, сосредоточенно, очень серьёзно кивнули. Перья колыхнулись в такт.

Женька, пригнувшись, переступал босыми ногами по го-

рячему песку бережка Толоки. За ним — «для секлета» — на четвереньках крались индейцы. Зосечка держала в зубах нож, Борька — катушку суровых ниток, Наталка шла за ними и несла узелок с оставшимся салом, Стасик переваливался налегке и придерживал лямку перепачканных в грязи штанов.

Они пришли в то место, где широкая Толока делала ленивый поворот, образуя мелкую заводь. Тёплая вода заросла крупными кувшинками и ряской. Туда по утрам торжевские хозяйки пригоняли гогочущих гусей и уток. Каждый гусь и утка имели особую метку на спине, намалёванную специальной краской. Вечерами, когда объевшиеся птицы суетливо вышагивали по берегу, хозяйские дети по этим меткам находили свою живность и гнали к сараям. На всю разморенную округу топотала, кричала и гоготала птичья ярмарка.

Жаркий день разливал густую духоту. Мальчишки, которым было поручено следить за птицей, играли на лугу в футбол. При счёте 23:31 им было не до птицы. Крики «пас!», «мне!», «ну куда ты бьёшь, чучело?!» великолепно были слышны спрятавшимся в камышах индейцам. Женька, пригнувшись, ходил взад-вперёд по бережку заводи, словно подрывник, раскладывая нитку длинной змейкой. Он наклонился, у воды зачерпнул липкий ил и слепил шар размером с небольшое яблоко. В этот шар он вдавил кусочек сала с крючком. Наконец, он оглянулся, широко размахнулся, изо всех сил бросил грязевой колобок к середине заводи и мгновенно

венно присел. Разложенная нитка со свистом взвилась вслед за снарядом. Плюх! Утки и гуси с ворчливым гоготом расплылись в стороны, вспенили воду, лениво пытаясь взлететь, но понемногу успокоились. Круги на воде затихли, лениво двинув золотые и белые цветы кувшинок.

Снова всё затихло. Солнце беспощадно жарило головы. Величественные колонны кучевых облаков поднялись высоко-высоко, выше сапфирового неба. В безумных пируэтах воздушных боёв шелестели стрекозы. В прибрежной траве возились, чавкали и шевелили сонную воду толстые карпы. Наши индейцы засели в камышах и терпели укусы зудевших вокруг комаров. Женька прилёг на берегу и осторожно поддёргивал на себя нитку, высвобождая сало из грязи. Наконец, нитка ослабла, хитрец перестал тянуть и замер. Из камышей показались напряжённые лица. Женька оглянулся, сделал страшное лицо, завращал глазами, индейцы спрятались с еле слышным вздохом нетерпения.

Но вот посередине зеркала чистой воды всплыл и тихонько закачался белый комочек. Невдалеке шла эскадренная колонна уток, горделиво рассекая воду. Вдруг утка-флагман увидела сало и, забыв о показной величавости, бросилась к наживке. За ней устремилась вторая, хлопая от жадности крыльями, потом третья, отставшие утки крутили головами, не понимая, в чём дело, подняли волну, пытались взлететь, чтобы успеть в кучу. Женька замер. Один удар сердца, второй! И победительница гонки победно вскинула белую голо-

ву и заглотила сало, которое сразу проскользнуло по длинной шее.

Женька широко взмахнул рукой. В камышах восторг! Утка забарахталась, захлёбываясь, захрипела, не успевая кричать – так её быстро тянул мальчик. Женька отступил в камыши, чтобы не заметили. Белые зубы заблестели победной хищной улыбкой на веснушчатом худом лице. На лбу сидел здоровенный слепень, но мальчик даже не чувствовал укус. Последнее движение – он схватил утку за шею и резко дернул, пальцами почувствовал хруст и быстро спрятал в камышах добычу.

– Ну?! Ну, Женька?! Ура?!

– Тихо, голопузы! Айда отсюдава!

Пятеро смелых – вождь, три индейца и бледнолицая – быстро крались вдоль берега. Женька завернул утку в рубашку, индейцы бежали за ним, падали, поднимались, опять падали, их лица были искажены задавленным смехом, сердца стучали молоточками, грудь распирала радость, так хотелось крикнуть: «Ур-р-ра!!!» Но Женька так горячо пообещал головы оторвать, так выразительно провёл ладонью по шее, что друзья позакрывали ладошками рты, чтобы даже случайно не вскрикнуть. Но как же внутри щекотался смех и охотничий клич!

...Они убежали далеко за холм, за греблю, к старым ивам, где запасливый вождь гуронов ещё с вечера сложил сухие ветки для костра и спрятал спички. Ветер шелестел и плав-

но раскачивал изумрудный занавес огромной ивы. Внутри, скрытые от посторонних глаз, словно в огромном вигваме, на корточках сидели малыши и смотрели, как Женька торопился ощипать ещё тёплую птицу. Белые перья и пух прилипали к его ловким пальцам, лоб мальчика покрылся крупными каплями пота. Он был не очень высок для его двенадцати лет, вечно голодный сирота, непутёвый племянник своей заботливой тётки. Худые лопатки были покрыты расчёсами укусов комаров и слепней. Выгоревший добела чубчик не скрывал круглый упрямый лоб. Женька хитро улыбнулся, и его карие глаза засветились в зелёном полумраке.

– Так, Наталка! Що сидишь? А ну, збігай за водою!

– А як? Кудя?

– Он-до, за деревом – стареньке відерце, подивись.

– А-а-а, бачу.

– Можно я с ней? Ну, Женечка, можно?! – Зосечка аж подпрыгивала на месте, так хотелось поучаствовать.

– Не. Ви з Борькой дуйте в вогонь, щоб горіло краще. Стасик, допоможи Наталці.

Зосечка и Борька легли на землю и старательно раздули костёр, покраснев от усердия. Наконец осмелевшие язычки пламени заблестели в круглых стёклах Борькиных очков, и он отвалился назад, глотнув дыма. Зосечке тоже попал в глаза дым, она зажмурилась, но продолжала старательно дуть мимо, поднимая пепел.

– Та тю! – Женька засмеялся во всё горло. – Зося, годи,

годи. Не треба. Та сідайте вже, годи.

Звякнуло старое ведро. Стасик споткнулся о корень ивы, засеменял, чтобы не упасть, наткнулся на Наталку, завалял старшую сестру, та упала, больно оцарапала коленку, но удержала ведро.

– От ти бовдур! Не бачиш, куди йдеш, чи що?! – возмутился Женька.

– Звини, Женя. Звини, позалуста. Я не нарочно... – Стасик замолк, и крупные слёзы выкатились на его длинные ресницы.

– Добре, ти ще поплач мені. Так. Так! Досить! Стасик, оти дурний, ну... Ти що? Ну, Стасю! Ну, пробач!

Наконец утка была выпотрошена и разрезана на куски, мясо нанизано на прутья и жарилось над оранжевыми огоньками. Сок стекал вниз вместе с растопленным жиром, который вспыхивал в угольях, шкворчал и брызгался злыми каплями. Дым поднимался к нижним ветвям ивы, скапливался там серым облаком, просачивался сквозь массу листьев и белым шлейфом уносился лёгким ветерком.

Женька дал свой прут Борьке, который сразу же, не в силах удержать два куса, уронил их в пепел. Его круглые глаза потемнели в ожидании заслуженного наказания, но в тот день Женька был терпелив, как ангел. Вождь гуронов соскрёб пепел ножом, опять вручил прутья Борьке, а сам пошёл к стволу ивы. Он подпрыгнул, сначала неудачно, потом всё-таки уцепился за ветку, ногами упёрся в грубую кору,

перебрался наверх, что-то стал искать в огромной развилке мощных ветвей.

Вниз упал белый комочек, за ним, сначала повиснув на руках и как следует раскачавшись на упругой ветке, легко спрыгнул Женька. Он развязал узелок с солью и осторожно подсолил подрумянившиеся куски. Индейцы устало ждали. Для малышни это было уже слишком длинное приключение. Но аромат жареного мяса так дразнил носы, что они всё готовы были стерпеть. Грязь на их телах высохла и потрескалась, а под носами особенно развозюкалась. Наконец белые зубы впились в горячее мясо, они обжигали языки, дули, охали, капали жиром, опять кусали, старательно жевали, по подбородкам текла слюна и сок...

Но как же было вкусно! Просто индейски вкусно!

Костёр догорел. Угли заснули под толстым слоем белого пепла, по которому изредка пробежали весёлые искорки. Гуроны клевали носами, а ведь ещё надо было дойти домой. Внезапно Стасик вскочил и затоптал пяточками к кустам, на ходу расстёгивая штанишки. Он успел и довольный собой вернулся, стал рассматривать сонных индейцев.

– Я домой хацу, – заявил он решительно. – Натафа, пайшли! Натаффа, ну!

– Да, Стасик. Я сейчас.

Старшая сестра подняла глаза на Женьку, который сидел в сторонке, прислонившись спиной к узловатой коре старого дерева и смотрел куда-то в небо. В сгустившихся тенях

выражение его лица было неразборчиво и сумрачно. Наташа встала. Осторожно, словно оленёнок, она ступала тоненькими ножками, стараясь не шуметь. Девочка подошла к Женьке и положила тёплую ладошку ему на плечо.

– Женья... Женья, спасибо тебе.

Женька Кондратенко оглянулся. В уголках его карих глаз блеснули слёзы. Он посмотрел на восьмилетнюю девочку... И спрятал глаза. Здесь, под сказочным пологом ивы, в своём секретном убежище, он был повелителем древнего замка, наверху – капитаном пиратского фрегата, а совсем высоко, там, где ноги уже дрожали и ветки гнулись под его весом, там, где горячий ветер и дальний горизонт, там он был лётчиком-истребителем, сбивавшим тысячи немцев. Сюда он привёл карапузов. И... И её – Наташу. Это для неё он нарушил обещание тётке никогда больше не таскать уток, это для Наташи он готовил костёр, жарил мясо, это для неё всё готов сделать, всё, что в его силах. Так, как учили его папа и старший брат. Погибшие на войне папа и старший брат. Женья молчал, он не мог ничего выговорить, потому что скорее откусил бы язык, чем выдал себя – Наташе.

– Пожалуйста, – буркнул он и опустил голову. Потом, испугавшись, что его невежливость обидит Наташу, он вскинулся, робко улыбнулся и протянул ей руку. – Пожалуйста!

Девочка, почему-то очень-очень посерьёзнев, крепко пожала его шершавую ладонь.

Девочка смотрела на мальчика. Их жизнь неслышно отме-

рила одну-единственную, но общую секунду. Что будет, что случится через много-много лет? Никто не мог сказать, забудут ли они друг друга, уедут ли Наташа и Стасик обратно к дальним родственникам в Пензу, что с ними будет и как, но тогда что-то случилось. Произошло такое, что легло на дно реки их памяти, пусть даже и со временем заилится течение мусором ежедневных забот. Но, возможно, много позже, в какой-то момент, может, при виде детей, сидящих у костра, или на рынке, увидев гогочущих в корзинах уток, они, уже взрослые, остановятся, как вкопанные, и почувствуют, что где-то с ними было, точно было, произошло – неуловимое, тревожное, словно взгляд ведуньи.

Стасик топнул нетерпеливо и разбудил Зосечку. Борька Лифшиц похрапывал, угревшись у костра. Зосечка сорвала травинку и стала щекотать Борьке заголившийся живот. Стасик внимательно запоминал шкodu. Борька с судорожным всхлипом проснулся, вытаращил глаза, поправил очки – со сна ему трудно было сориентироваться. Друзья начали собираться. Стасик оглянулся на Наташу.

– Натаффа, ты йдофф??

Сестра оглянулась, будто выплыла из какого-то омута, осторожно вынула руку из Женькиной ладони, повернулась и пошла за малышами по узенькой тропинке, протоптанной в зарослях череды. Женька смотрел им вслед. Над жёлтыми соцветьями мелькали макушки Зосечки и Борьки, Стасика вообще не было видно. Зато все слышали, когда он спо-

ткнулся и шлёпнулся. Рёв, всхлипывания. Малыш устал, но шёл домой. И тут Наташа остановилась, оглянулась назад и помахала Женьке. На фоне закатного неба он различил лишь её тёмный силуэт и взмах ладошки.

И сердце ударило в грудь.

Он опять сел, прислонился к горячему стволу, опустил голову на колени, зажмурился и замер. А в глазах, ослеплённых оранжевым диском солнца, медленно-медленно таяла тоненькая фигурка...

7

В хате Добровских было пусто.

Светились окна в хатах соседей напротив. За занавесками хозяйки отмывали своих детей от дневной пыли. На столах заждался трудовой, заработанный ужин, стояли тарелки, разложены вилки, нарезан свежий хлеб. Хозяева сидели на скамейках возле веранд, торопливо докуривали папиросы, незлобиво чертыхаясь на зов хозяек: «Та йду я, йду! Чую! Зараз, Мариночко! Зачекай! От ти ж яка вперта... Та йду я!»

Тоня кубарем добежала до крайней к полю хаты, схватилась за кудахтавшее сердце.

– Зо-о-о-сю! Зо-о-о-се-е-чка-а-а!!

Её крик разнёсся по полю – далеко-далеко. Разлетелся по огородам, по лугам, над которыми появилась лёгкая дымка. Разогретая солнцем Толока выпускала первые клубы вечер-

него тумана, который постепенно скапливался, укрывал камыши, лизал берега, лениво выползал на отмели и чуть ли не мурлыкал под ласковыми ладонями последнего ветерка. Солнце только что село за горизонт, но его могучие лучи ещё вонзались в остывающий свод небесной печи.

Тоня сняла сбившийся платок, вытерла им пот со лба.

Внучки не было. Дочки с зятем (трясця йих матери!) – тоже. Терентий бегал с другого края Торжевки. «Ой, лишенько! Де ж вона? Де ж ця маленька?!» Тоня держалась за покосившийся столбик крайней ограды. Сердце тарахтело, будто мотор трактора. Только этого ей не хватало... В боку пекло, нету мочи.

«Боже, Боже! Боже ж наш всемогущий! Где ж ты, молодость? Где сердце, где ж сила, Боже? Побежала бы, полетела б всей душой, да клятые ноги не пускают, распухли, как колоды, болят, ноют, к земле тянут. Или мало страдала, Боже? Пресвятая Богородица, сил же нет, нет совсем, как Лида умерла в войну. Закончились силы, выгорело сердце. Стало тяжёлым, усталым, нет терпежу уже, как же ж устало сердце... Лида, серденько, сонечко, де же внучка? Покажи, де ж ця маленька, де ж це кошенья рыже?»

С Липовского проселка на дорогу тяжело вырулил велосипед. Вася налегал на педали, Тася старалась ровно держаться на раме, крепко схватилась за руль, а он пользовался тем, что руки жены заняты, и легонько целовал её в шею. Тася хохотала. Тоня услышала этот смех, и в ней разом всплеснулись

две волны. Первая, рассудочная: «Да как она может смеяться, когда Зосечки нет?!» – а вторая волна поднялась из материнского сердца: «Господи, Тася... смеётся?!» Тоня давно не слыхала такого счастливого, такого звенящего смеха дочки. Такого очень женского смеха... Эти две волны столкнулись в её сердце, и оно сбилось с ритма, замерло клёком сырого теста.

– Тася! Вася!!

Они услышали в темноте её окрик и чуть не свалились с велосипеда.

– Что, мамо? Мама, что случилось?! Что ты тут делаешь? Ты что, бежала? Папа? Зося?! Да не молчи ты, мамо!

– Да не тараторьте вы! Дайте ж отдышаться... Зоси нет.

– Как это – «Зоси нет»? А где она?

– Я знаю?! Как вышла на улицу к этому Женьке, так и нет!

– К какому Женьке? Василенко?

– Да к Кондратенке, біс би його забрав! Та ще ж эти, ну, из Пензы деточки, как их... Ну, Тася, ты ж их знаешь – эти – Наташа, та, которая постарше, и маленький хлопчик, такой круглый... Ну, Стасик, чи що. И маленький ще був один – Борик, Розы Соломоновны внучок.

Они бежали по улице со всей возможной скоростью, которую могли развить тяжелые ноги Антонины. Тася поминутно останавливалась, смотрела то на мать, то на мужа.

– Вася! А ну, на веломашину! Дойди до хати! Може, вона там!

– А вы?

– Та мы добежим, как сможем. Видишь, маме плохо.

– Доню... Та бежите ж вы оба! Я, як небудь, потихоньку, сейчас вот посиджу тут у Пилипчуков на лавочке та й добіжу. Ось тут зараз сяду, – Антонина тяжело села на лавочку, вкопанную возле ворот соседей. – Бежи ж, доню, догоняй Васю. Бежи. Мені вже легче, зараз, зараз буде добре...

Тася торопилась, бежала уже почти в темноте, больно сбилая пятки по уличной брусчатке. За поворотом над ней распахнулось синее с бирюзой небо. Над горизонтом бирюза переходила в перламутр, только чёрточка остывшего золотого облачка сверкала у самой земли. Большая звезда купалась в зелёной волне небосклона. Кое-где гавкали собаки, незлобно, с достоинством. Под ногами, распушив хвост, неслышно мелькнул суетливый кот.

– Тьфу ты! Клята тварино! – Тася чуть не споткнулась о кота, подпрыгнула, но побежала ещё резвее, на ходу крестясь и сплёвывая через плечо.

Вот и ворота родной хаты. Тася ударила телом в калитку, та обиженно всхлипнула пружиной и, сорвав обиду, брякнула щеколдой о забор.

Тася добежала через дворик и увидела мирно стоявший у выбеленного палисадничка велосипед.

– Ва-а-ася-а-а!

– Ну что ты кричишь? – из темноты раздался спокойный голос, в котором слышалась улыбка. – Сильна ты кричать,

жена. Здесь Зося. Здесь она. Тихо.

– Цела?! Где вы, черти кляти?!

– Здесь мы. Не шуми.

– Та где?!

Чиркнула спичка и Тася рассмотрела смеющиеся глаза мужа и чёрную фигурку, спрятавшую лицо у него на груди.

– Зося? Зося!! – Тася подошла ближе, наклонилась. Дочка резко отвернулась, отчего белое петушиное перо выбило сигарету изо рта Васи. – Зоська! Ты что это? Да ты ж чорна!

– Индейцы должны быть чёрными, – подчеркнуто-спокойно произнёс Вася, важно растягивая слова «на гуронский манер». – Если индеец белый, то это не индеец. И у индейца должно быть смелое сердце, быстрые ноги и зоркий глаз!

Зося подняла голову, всхлипнула и опять уткнула нос в отцову шею.

– Зося... Зося, что такое?

– Ницево!

– Зосечка?

– Ницево, я казала!

– Ты ничего не хочешь мне рассказать?

– Тася, не надо, всё хорошо. – попытался вмешаться Вася, но не очень удачно.

– Что значит «всё хорошо»?! Зося, ты на себя посмотри!

– Сматела! Сматела я! Не буду!

Тася незаметно для себя начала говорить профессионально-учительским тоном.

– Зося, девочка не должна мазаться грязью. Ты папу испачкаешь, тебя всю отмывать надо. Где ты была?

– Ницево я не была! Я... я... – девочка чуть не заплакала. – Я пахой идеиц! Я...

Наконец девочка повернулась к маме, резко, с клоком грязи, выдрала из волос белое перо, швырнула его на землю, вскочила, прыгнула на перо и стала яростно его топтать, часто-часто ударяя ножками.

– Я – пахой идейц! Я папиваво генелисуса Сталина загубива!

– Какого генералиссимуса? Зося?! Ты взяла папину медаль?!

– Ну, взяла. Что же, индейцу нельзя брать медали? – тихо сказал Вася, опять взяв дочку на руки и качая её на коленях. – Ин-дей-цу для храб-рос-ти мож-но брать ме-да-ли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.